

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ТОЛСТОЙ. ЧЕХОВ. ЛЕНИН



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г71

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Горький, Максим.

Г71 Толстой. Чехов. Ленин : [мемуары] / Максим Горький. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 320 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-114313-8

«Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о Боге» — такова ключевая идея самого известного и замечательного из литературных портретов Горького — мемуаров о Льве Толстом. Но что же в общении с великим писателем заставило автора прийти к другому, весьма неожиданному выводу: «С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»? Горький, в котором литературный талант всегда сочетался с острой наблюдательностью прирожденного журналиста, постарался проникнуть за маски публичного образа гениального русского писателя.

В сборник также вошли воспоминания о Чехове, Ленине и других знаменитых современниках, оставивших яркий след в отечественной истории и культуре.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114313-8

© ООО «Издательство АСТ», 2019

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олесе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала тяжело больной, потом одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький.

ЗАМЕТКИ

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою

волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью

к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тошенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот — птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований — жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердисься до того, что нос у тебя синееет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так уколошил бы меня — только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда все и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

— Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврей-

ка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в XII веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие — от полноты души*.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно

* Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета — как фантастические романы. (Примеч. М. Горького.)

потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя — иногда — любит его, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — долго и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досья. Но — очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мошей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться *à sa façon*»*. Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и Виланда не любил...»

XI

— Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, ше-

* По-своему (*франц.*).

пелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в средние века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

... не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские «артикуль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже?— спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямою, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жиз-

неприемлемее. Глаза — еще острее, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно — в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютятся, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его — что это?

— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами, — Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая — раньше — неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую

грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.